

Деревня

Автор:

Иван Бунин

Деревня

Иван Алексеевич Бунин

Легкое дыхание

Иван Бунин – первый русский нобелевский лауреат, трижды был награжден Пушкинской премией, самый молодой академик Петербургской Российской академии. В XX веке продолжил традиции великой русской литературы XIX века, мастерство И. Бунина настолько тонко и отточено, «...что все описанное – совсем не описанное, а просто-напросто существующее», по мнению Ф. Степуна.

Иван Бунин

Деревня

I

Прадеда Красовых, прозванного на дворе Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: «Ату его!» Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.

Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город – и скоро прославился: стал знаменитым вором. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почтительнейше сознается даже в самом малейшем из своих несметных дел:

– Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел, запил, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгошали и сыновья его, Тихон и Кузьма. Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно орут:

– Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар – зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, иголки, крендели – в рундуке. А в телеге все, что добыто в обмен на товар:дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки...

Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножами не порезались – и разошлись от греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял постоянный дворишко на шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и «черную» лавочку: «торговля мелочного товару чаю сахару табаку сигар и прот-чего».

Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в говоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острее, чем прежде.

Неутомимо гонял он за становыми – в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценок землю... Жил он долго с немой кухаркой, – «неплохо, ничего не разберет!» – имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, взяв приданого, «доконал» потомка обнищавших

Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именье: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрялся он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли... Ахали и говорили:

- Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто наставлял:

- Живем - не мотаем, попадешься - обротаем. Но - по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тебе тринки не отдам! Баловать - нет, заметь, не побалую!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь, - от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками, - желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

- Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь, ноги-то расставил - эмирский бухар какой!

Осенью возле постоялого двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу. И поминутно визжал блок то на двери в кабаке, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку, темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:

- У-ух! И здорова же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.

- Сахаром в уста, любезный!

- Либо она у тебя с нюхательным табаком?

– Вот и вышел дураком!

А в лавке было еще люднее:

– Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь!

– Ветчинкой я, брат, нынешний год, благодаря Богу, так обеспечен, так обеспечен!

– А почему?

– Дешевка!

– Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

– Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

– А почему?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он пошучивал.

– Нет-с, уж: я своего добыюсь, – говорил он знакомым. – Без детей человек – не человек. Так, обсевок какой-то...

Потом даже страх стал нападать на него: что же это – одна приспала, другая все мертвых рождает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем, Тихон Ильич томился, злобился; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка – так смиренно и ласково-грустно, – темнели тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на

лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные... Теперь лампадка горела постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники – и в доме появился «Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе». И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, зловещие или бессмысленные.

– «Любит ли меня мой муж?» – спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:

«Любит, как собака палку».

«Сколько детей будет у меня?»

«Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон».

Тогда Тихон Ильич говорил:

– Дай-ка я кину...

И загадывал:

– «Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?»

Но и ему выходила чепуха:

«Считай во рту зубы».

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидел жену возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал

клювом в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню:

Где мой дитяtko лежит?

Где постелюшка его?

Он в высоком терему,

В колыбельке расписной.

Не ходите к нам никто,

Не стучите в терему!

Он уснул, започивал,

Темным пологом покрыт,

Расцвеченною тафтой...

И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не оробела – только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:

– Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику...

И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но дорогой думал, что все равно Бог должен наказать его за то, что он, в суете и хлопотах, только под Светлый день бывает в церкви. Да и лезли в голову кощунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было неумно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то – глупей его. Перед отъездом он получил письмо с Афона: «Боголюбивейший благодетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, благословение Господне и честный покров всепетой Богоматери от земного ее жребия, св. горы Афонской! Я имел счастье слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с любовью уделяете лепты на созидание и украшение храмов Божиих, на келии иноческие. Ныне хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние...» И Тихон Ильич послал на поправку этой хижины красненькую. Давно прошло то время, когда он с наивной гордостью верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи о нем, хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришло в ветхость, – и все-таки послал. Но не помогло и это, кончилась беременность прямо мукою: перед тем, как родить последнего

мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вздрагивать, стонать, взвизгивать... Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, Царица Небесная и несется откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармонье! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:

- Подойдут собаки и голову нанюхают...

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходиться в голову: «Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?» Монополия же была солью на рану. Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губы – особенно при фразе, не сходящей с языка: «Имейте в виду». По-прежнему он молодился – носил щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась...

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.

- Прекращаем-с, прекращаем-с! – с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей винной торговле. – Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захотелось поторговать!

- Ох, посмотрю я на тебя! – стонала Настасья Петровна. – Договоришься ты! Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!

- Не испугаете-с! – отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями. – Нет-с! На всякий роток не накинешь платок!

И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

- И ржица-с радуется! Имейте в виду: всех радуется! Ночью-с – и то видать. Выйдешь на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!

В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном; в ту, в которой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать – и так приятно было слышать сквозь сон голоса встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидеть вдаль, в голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, по-детски ослабевшего на утреннем холодке, бледного, как мел при свете зари... Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегунках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в остроге, в больнице – и над самой головой подняла ужасный рев корова...

– Каторга! – поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистулечек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечера по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло вонючим чадом сальных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой

безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями... Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевках и картузах; подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый севастопольский герой Хвостов – высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашенные волосы мертвого бурого цвета... Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что он падает, поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:

– Сколько просишь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылится, чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда доктор, похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что «живот почти прошел», и только по робости не отказался от касторки. А воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи – и все не мог утолить жажды. Звали знакомые «пивком освежиться» – и он шел. Орал квасник:

– Вот квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

– Вот-от морожено! – тенором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в красной рубахе...

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в висках.

Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засоренный и унавоженный выгон уже пустел, ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. Господи Боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей – ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек, – да все таких, что смотреть страшно и тошно, – прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро по Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой – в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободу прошло его детство, на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок... Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой вывеской над входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее было в Слободу по-старому: свиньи и куры возле порогов; высокие шести у ворот, а на шестах – бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру – похороны кукол... На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из сказки, – в очках, с клювом, с провалившимися губами – одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.

– Здорово, бабка! – крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот. – Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и прошамкала:

– Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкатывая глаза под лоб, перекрестился на картину Успения Богородицы над воротами и прибавил:

– Много вас тут теперь?

– Целых двенадцать старушек, батюшка.

– Что ж, часто ругаетесь?

– Часто, батюшка...

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду – и очень помолодел. Молодила его и худоба после болезни. Молодил загар, – белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по сторонам... Как коротка и бестолкова жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом солнечном затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер проносился по верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени поредевшим от зноя, волновал по камням, памятникам их прозрачную, легкую тень. А когда затихал, жарко пригревало солнце цветы и травы, сладко пели птицы в кустах, в сладкой истоме замирали на горячих дорожках бабочки... На одном кресте Тихон Ильич прочел:

Какие страшные оброки

Смерть собирает от людей!

Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет, что появилось много новых мавзолеев среди тех старинных камней в виде гробов на ножках, тяжелых чугунных плит и огромных, грубых и уже гниющих крестов, которыми полно оно. «Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов утра» – такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей белизной гипсовый ангел с очами, устремленными в небо,

и на цоколе под ним были выбиты золотые буквы: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе!» На железном, радужном от непогоды и времени, памятнике какого-то коллежского асессора можно было разобрать стихи:

Царю он честно послужил,
Сердечно ближнего любил,
Был уважаем от людей...

Стихи эти показались Тихону Ильичу лживыми. Но где правда? Вот в кустах валяется человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска, – все, что осталось от человека... Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле, – все смерть и тлен! Но шел далее Тихон Ильич и читал: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении».

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности Богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве, что дает только смерть, – те минуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как брата, сравнивают его с царями и владыками... А там, в дальнем углу ограды, в кустах бузины, дремлющих на припеке, увидел Тихон Ильич свежую детскую могилку, крест, а на кресте двестише:

Тише, листья, не шумите,
мово Костю не будите! —

и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от навернувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка, – лихо носятся уездные извозчики! – а в пролетке – городской охотник: у ног – пегая легавая собака, на коленях – ружье в чехле, на ногах высокие болотные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: в работники бы этого лодаря! Полдневное солнце палило, ветер

дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощие, до времени подсыхающие хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем богомолков. Они отвешивали Тихону Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством.

– Смиреницы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошадемок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, – рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

– У, нищоброды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубахе, спал, колотился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрвав окровавленную бороду и распухший в засохшей крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся – и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб; сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый детский картузик козырьком назад, другая пела, третья махала руками и с хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу:

– Дядя! Чеку потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете – «дело». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, тринки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховой проносился вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жарою. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной – густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал

голову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

– Разнуздай-ка лошадь-то, – сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнувший стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой, стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

– Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

– А у вас-то ай сахарная? – ласково и весело возразил мужик. – Тыщу лет пьем! Да вода что – вот хлебушка нетути...

За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей, – опять тощих, слабых, переполненных васильками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами, – любят они почему-то пожарище: от Выселок осталось в эти дни только одно звание – только черные остовы изб среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью... И мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. «Беда!» – подумал он, бледнея. Ничего-то у него не застраховано, все может в один час слететь...

С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать – и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь полирует», – говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, петлей, золотой клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли, – война с Японией и революция.

Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!» Но скоро слышались иные речи.

– Своей земли девать некуда! – строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич. – Не война-с, а прямо бессмыслица!

И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

– Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхищали убийства.

– Как дал этому самому министру под жилу, – говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга, – как дал – праху от него не осталось!

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. «Все жида работают! Все жида-с, да вот еще лохмачи эти студенты!» И непонятно было: все говорят – революция, революция, а вокруг – все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

– Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! – говорил Тихон Ильич. И, забыв о «жидах», прибавлял:

– Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительство сменить да земелькой поровнять – это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет, – народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почует удачу, почует шлею под хвостом – вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Случалось – стоит возле его лавки мужик и говорит:

– Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке – это можно, взять-то ее. А так – нет, нехорошо...

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит пары

горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает:

- Так. А если он не хозяин, а лодарь?

- Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех!

- Ну вот то-то и оно-то!

Но приходила другая весть – будут и меньше пятисот брать! – и сразу овладевала душой рассеянность, придирчивость. Все, что делается по дому, начинало казаться отвратительным.

Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы – «и отчего это так густы они у дураков?» – лоб вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбы, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что, если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот – придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:

- Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля, – все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой, – и получался уютный квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе – березовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лентой, с перевала на перевал, убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугунка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков, – конечно, кто поделнее, поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он «богат» и жаден, Тихон Ильич останавливал его.

- Хоть бы картузишко-то купил себе! – кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашной рубахе, в коротких тяжелых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

– Здорово, Тихон Ильич, – сдержанно говорил он.

– Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнезда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

– Это... как сказать?... неплохо бы. Да капитал-то, к примеру, не позволяет.

– Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть... Чего тебе еще от Господа Бога желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

– О, господи! – вздыхая, бормотал он дрожащим голосом. – Деньги... У меня их, к примеру, и в заведенье-то не бывало... А малый... что ж малый? Малый не радуется... Прямо надо сказать – не радуется!

Был Яков, как многие мужики, очень нервен, и особенно тогда, когда доходило дело до семьи, хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность одолевала, хотя изобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растревожить его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

– Не радуется? Скажи, пожалуйста! И все из-за бабы?

Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:

– Из-за бабы, родимец ее расшиби...

– Ревнует?

– Ревнует... В снохачи меня записала...

И у Якова бегали глаза:

– Там нажалилась мужу, там нажалилась! Да что – отравить хотела! Иной раз, к примеру, остудишься... покуришь маленько, чтоб на груди полегчало... Ну, и сунула мне под подушку сигарку... Кабы не глянул – пропал бы!

– Что ж за сигарка такая?

– Костей мертвых натолкла да вместо табаку и высыпала...

– То-то малый-то дурак? Поучил бы ее по-русски!

– Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, ан голова-то стриженная... Ухвачу за пельки – рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и наконец решался:

– Ну, а как у вас там? Все бунту ждете?

Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

– Ну! – скороговоркой бормотал он. – Какого там рожна – бунт! У нас народ смирный... Смирный народ...

И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь.

– А сходка-то зачем в воскресенье была? – вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

– Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру...

– Знаю, о чем галдели-то!

– Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение... вышла будто распоряжение – никак не работать у господ по прежней цене...

Очень обидно было думать, что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чертовой

яруге: широкий овраг, на одном боку – избы, на другом – усадьбишка. И переглядывается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетями!

Но «распоряжение» таки вышло. Пронесся в одно из воскресений слух, что в Дурновке – сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостными глазами, с ощущением необычной силы и дерзости, с готовностью «самому черту рога сломать» Тихон Ильич крикнул «запречь в бегунки жеребчика» и через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугулки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор...

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой наступавший шорник, – злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубахе. Он, от лица всей толпы, орал, что выпало распоряжение «пошабашить это дело» – пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономий посторонних батраков, заступить на их работу местным, – по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника:

– А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

– Ты бродяга-то! – вопил он, наливаясь кровью. – Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня – черт! – у меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему? Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

– Ну, помни-и, Митька! – крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам. – Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз – и дружный гогот, рев и свист понеслись ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

– С-стой, стерва! – сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади. – Сто-ой!

А издали доносились голоса, крики. И изо всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду шалаш – и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мещанином-садовником, стал сам собой палить из огня...

Впоследствии узнали, что и правда совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли. Шорник вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощупывал в кармане бульдог, надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились и слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать развязаться с Дурновкой. «Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!»

В этот год Тихону Ильичу сравнялось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во двор ко вдовому брату Якова Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя на свадьбе, и ушел в солдаты. А молодая, – стройная, с очень белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами, – стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с позументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая, – за ней так и осталась эта кличка, – была и в этом наряде хороша. И однажды вечером, в темной риге, где Молодая одна дومتала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел к ней и быстро сказал:

– В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертного не пожалею!

Но Молодая молчала как убитая.

– Слышишь, что ли? – шепотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он и не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же нанял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что «без солдата теперь не обойдешься». Под Ильин день Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрызганные грязной водой, на все ее раздавленное в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно ловко владея своей силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, покрасневшееся лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула:

– Так и смажу тебя, малый!

Пахло горячими помоями, горячим телом, потом... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости, – и понес в другую комнату, где была постель... И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не противилась...

Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, знать, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее – ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой, коротко стриженной черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко запавшим блестящим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»:

– Вы шо говорите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело.

Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

– Что ты делаешь, мерзавец ты этакий?

Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

– Вы шо говорите? – спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью...

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или землей... Но прошел месяц, прошел другой, – и надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего же было после этого продолжать играть с огнем? Надо было разделаться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его заменить?

Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его взять на себя управление Дурновкой.

Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее, – стал «автором». Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов и на обороте обозначили: «Склад у автора».

– Та-ак-с! – протянул Тихон Ильич, услышавши это. – Он Кузьма, а ничего! И что же, позвольте спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова?

– Все честь честью, – ответил знакомый, твердо веривший, впрочем, – как и многие в городе, – что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева написал брату твердую и краткую записку: пора старикам помириться, покаяться. А на другой день и примирение, и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, покрытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый отрубями пол, пахнувший конюшной, половых в белых рубашках и белых штанах. В клетке на все лады, как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол, и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос:

– Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он не просто.

– Спервоначально изложу я тебе, Тихон Ильич, – начал он, как только Тихон Ильич налил ему чаю, – изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал... – Он усмехнулся: – С кем ты связываешься...

И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови, расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал:

– Я, видишь ли, – анархист...

Тихон Ильич вскинул бровями.

– Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут – никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю, – драть шкур не буду.

– Да и времена не те, – вздохнул Тихон Ильич.

– Ну, времена-то все те же. Можно еще, драть-то. Да нет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению то есть.

– Ох, имей в виду: зачитаешься – в кармане недосчитаешься! – сказал, потрянув головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич. – Да, пожалуй, и не наше это дело.

– Ну, я так не думаю, – возразил Кузьма. – Я, брат, – как бы это тебе сказать? – странный русский тип.

– Я и сам русский человек, имей в виду, – вставил Тихон Ильич.

– Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но – иной. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за-ради бога, что вы – русские. Дикий мы народ!

Тихон Ильич, нахмурившись, побарабанил пальцами по столу.

– Это-то, пожалуй, правильно, – сказал он. – Дикий народ. Шальной.

– Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки пошатался по свету, – ну и что ж? – прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив, – покосился Кузьма на брата, – так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо,

а толку что?

- Как же так – толку что? – спросил Тихон Ильич.

- Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб.

- Нам, брат, видно, не до этого, – сказал Тихон Ильич. – «Поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей!»

- Лаптей! – едко отозвался Кузьма. – Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татары, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало – монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый!

- Верно! – сказал Тихон Ильич. – Давай-ка лучше об деле поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

- В церковь я не хожу...

- Значит, ты молокан? – спросил Тихон Ильич и подумал: «Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!»

- Вроде молокана, – усмехнулся Кузьма. – Да а ты-то ходишь? Кабы не страх да нуждишка, – и совсем забыл бы.

- Ну, это не я первый, не я последний, – возразил Тихон Ильич, нахмурившись. – Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

– Говоришь привычное! – сказал он строго, – А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул – и все как рукой сняло! Есть тут смысл ай нет?

Разговор становился тяжелым. «Правильно и это», – подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о Боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

– И рад бы в рай, да грехи не пускают.

– Вот, вот, вот! – подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу. – Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово – одно, а дело – другое! Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а засим говори дело...

Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: «Ловко!» А договорившись, хлопнул по столу ладонью, энергично сказал:

– Ну, значит, так, – не стать перетакивать! – и, запустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом.

– Вот! – сказал он. – Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманные, давнишние... Но делать нечего. На, бери и прячь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его – автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано: «Стихотворения К. И. Красова». Он повертел книжку в руках и несмело сказал:

– А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей

туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал. Блестели глаза и у Тихона Ильича. Неважно было, хороши или дурны стихи, – важно то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и старыми сапогами...

– А у нас, Кузьма Ильич, – сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потупился, – а у нас одна песня...

И неприятно, горько дернул губою:

– У нас одна песня: что почем?

Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно, – она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать, – противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, щелкал на счетах. Смилостивился он только в одном – не вычел за гужи.

Теперь он был тверд. Отделяваясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. «Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да куда сойдет!» И, возвратясь на Воргол, без устали хлопотал весь октябрь. И, как бы в лад с его настроением, весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась, – сменилась бурей, ливнями, а в Дурновке случилось нечто совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на линии чугунки, а Молодая без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятиалтынный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой, похожей на египтянку. Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли

у нее с ним что-нибудь, неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок», – пригласили Козу и Молодую, всю ночь играли на двух ливенках, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягли телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую наземь, связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и стали закручивать веревкой. Коза кинулась бежать, забилась со страху в мокрые бурьяны, а когда выглянула из них, – после того, как телега с мещанами шибко покатила вон из сада, – то увидела, что Молодая, по пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик, Коза плакала в три ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что скорее ее, Козу, громом убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сравнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: «видеть – никто не видал, ну, а Коза-то и сбrehать недорого возьмет». Однако разговоры, вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. Волнуясь, – опять выбившись из колеи! – ожидал этой расправы и Тихон Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-то могла кончиться убийством! Но кончилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы Дурновку сильнее – убийство или такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой «рубаху сменить», умер «от живота»! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь лошадь и в темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему:

– Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец ни с того ни с сего сказал:

– Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая тема.

– Имей в виду, – горячо перебил Тихон Ильич, – охальников всегда и везде было много.

– Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурачка-то этого?

– Мотю Утиную Головку, что ли? – спросил Тихон Ильич.

– Ну, вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугунке доставили к нему Мотю – в бочке сахарной. Начальство знакомое – ну, и доставили. А на бочке написали: «Осторожно. Дурак битый».

– И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! – горько продолжал Кузьма. – Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли, – грех великий. Сам Дух Святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница полна была вонючими размокшими окурками. Вентилятор – жестяная труба в верхнем углу окна – был открыт, и порою в нем что-то начинало визжать, крутиться и скучно-скучно ныть – «как в волостном правлении», – думал Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил:

– Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю считаешь – волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины – тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпустил черева на землю»... Илья, так тот своей собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»... А песни? Все одно, все одно: мачеха – «лихая да алчная», свекор – «лютый да придиричивый», «сидит на палате, ровно кобель на канате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит на печи, ровно сука на цепи», золовки – непременно «псовки да кляузницы», деверья – «злые насмешники», муж – «либо дурак, либо пьяница», ему «свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «полы мыла – во щи вылила, порог скребла –

пирог спекла», к муженьку же обращается с такой речью: «Встань, постылый, пробудися, вот тебе помои – умойся, вот тебе онучи – утрися, вот тебе обрывок – удавися»... А прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! «За битого двух небитых дают»... «Простота хуже воровства»...

– Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить? – насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

– Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! «Черт! Тебе лопать нечего...» Да вот тебе пример: Дениска... ну, этот... сын Серого-то... сапожник... на днях и говорит мне...

– Стой, – перебил Тихон Ильич, – а как поживает сам Серый?

– Дениска говорит – «с голоду околевает».

– Стерва мужик! – сказал Тихон Ильич убежденно. – И ты мне про него песен не пой.

– Я и не пою, – сердито ответил Кузьма. – Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и рассказывает мне: «Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приституток – видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она и сожрет его весь под тобой... То-то смеху было!» Заметь! – строго крикнул Кузьма, останавливаясь: «То-то смеху было!»

– Да постой ты, Христа ради, – опять перебил Тихон Ильич, – дай мне про дело-то слово сказать!

Кузьма остановился.

– Ну, говорит, – сказал он. – Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать – вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, хоронить не на что! А потом опять ее нанять. Ко мне, в кухарки...

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мокрыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали собаки у крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошаадь, большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще наворачивается липкий чернозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел наконец к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошаадь Якова у коновязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки – и в испуге остановился.

– Далдо-он! – говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо, подражая ему, Тихону Ильичу, но больным, ласковым голосом, и все ниже склонялась к ящику с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи. – Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается?

И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:

– А не отравила она его?

И Яков поспешно забормотал:

– Не наша дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело – сторона... Сторона, к примеру...

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили. Молодая голосила, провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична, – ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда, – и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.me/ivan-bunin/derevnya>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)